

Осталось в сердце

В тот день, 9 марта 1915 года, Блок отметил в записной книжке: «Перемышль сдался.— Усталость.— Днем у меня рязанский парень со стихами». Документы, свидетельства современников позволяют довольно точно воссоздать общую атмосферу и важнейшие моменты первой встречи двух поэтов, встречи, которой суждено было сыграть такую важную роль во всей дальнейшей судьбе Есенина. И не случайно, как бы предчувствуя это, Есенин настойчиво просит Блока принять его. «Александр Александрович! — обращается он к Блоку. — Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением С. Есенин». На этом коротком есенинском письме Блок после встречи записывает: «Крестьянин Рязанской губ., 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык. Приходил ко мне 9 марта 1915 г.».

Поначалу при встрече с Блоком Есенин сильно волновался. «Когда я смотрел на Блока, — рассказывал он позднее, — с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта». Волнение вскоре прошло. Помог этому Блок, обладавший редким даром чуткого и отзывчивого собеседника. «Больше всего меня поразило то, — вспоминает один из поэтов, который еще в 1909 году пришел к Блоку школьником, с тетрадкой стихов, — как Блок заговорил со мной. Как с давно знакомым, как со взрослым и точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение не то что прошло — я просто о нем забыл».

Так же непосредственно, как с равным, судя по всему, Александр Блок разговаривал с Сергеем Есениным.

Позднее, будучи известным поэтом, Есенин с благодарностью вспоминал, как Блок во время первой встречи посвящал его в «секреты» поэтического мастерства. «Иногда важно, — говорил Есенин в 1924 году одному начинающему стихотворцу, — чтобы молодому поэту более опытный поэт показал, как нужно писать стихи. Вот меня, например, учил писать лирические стихи Блок, когда я с ним познакомился в Петербурге и читал ему свои ранние стихи».

— Лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным, — говорил мне Блок.

Идеальная мера лирического стихотворения 20 строк. Если стихотворение начинающего поэта будет очень длинным, длиннее 20 строк, оно безусловно потеряет лирическую напряженность, оно станет бледным и водянистым.

Учись быть кратким!..

Помни: идеальная мера лирического стихотворения 20 строк...» Предельно лаконичная, вместе с тем в высшей степени емкая и пронзительная, оценка стихов Есенина Блоком говорит о многом. «Поэт — эхо, — писал в 1915 году одному из своих корреспондентов Максим Горький, — он должен откликаться на все звуки, на все зовы жизни... У Вас много ветра, осени, неба, но мало человека, мало песен души его. А эти песни — самое интересное, именно они-то и являются вечными темами истинной поэзии».

За свою жизнь Блок видел много поэтов — и начинающих, и именитых. Его трудно было удивить. И все же Есенин удивил, а вернее, взволновал Блока как поэта. «Стихи свежие, чистые, голосистые...» Требовательный к себе и другим, Блок не часто столь высоко и восторженно отзывался о стихах, которые слышал впервые. Блок сам, лично, отобрал для печати шесть стихотворений Есенина. По существу это был небольшой цикл, первый в жизни рязанского поэта. Важным был еще один шаг, который предпринимает Блок, озабоченный дальнейшей судьбой Есенина. Понимая, как трудно печататься в столичных журналах начинающему поэту, да еще из крестьян, а также зная, что у Есенина в Петрограде нет ни друзей, ни знакомых и ему по существу на первых порах нигде даже остановиться, Блок с отобранными стихами и своим кратким рекомендательным письмом направляет Сергея Есенина к поэту С. М. Городецкому и литератору М. П. Мурашеву. И того, и другого Блок знал довольно хорошо и был уверен, что они внимательно отнесутся к Есенину. «Дорогой Михаил Павлович! — писал Блок Мурашеву. — Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймете его. Ваш А. Блок». Внизу была приписка: «Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу (Городецкому).

Ю. П.) Посмотрите и сделайте все, что возможно». 9 марта 1915 года — день первой встречи с Блоком — стал для Есенина едва ли не самым радостным и счастливым. Талант его признал первый поэт России! Прощаясь, Блок подарил молодому рязанскому поэту книгу своих стихов. На ее титульном листе он написал: «Сергею Александровичу Есенину на добрую память. Александр Блок. 9 марта 1915 г. Петроград».

К 100-летию со дня рождения Александра БЛОКА

СЛОВО О ПОЭТЕ

28 ноября исполняется 100 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Блока. На страницах нашей газеты уже выступали со статьями о Блоке поэт Михаил Дудин, критик Вл. Орлов. Сегодня мы публикуем воспоминания трех современников Блока — Сергея Есенина («Осталось в сердце»), Марины Цветаевой («Музыка революции»), Андрея Белого («Встреча»), подготовленные для нас Ю. Прокушевым, А. Саакянц и В. Енишерловым.

Имеется еще один очень важный, о многом говорящий документ. В одной из своих записных книжек Александр Блок отмечает: «22 апреля. Весь день брожу, вечером в цирке на борьбе, днем у Философова в «Голосе жизни». Писал к Минич и к Есенину». Письмо Блока к Есенину примечательно во многих отношениях.

«Дорогой Сергей Александрович. Сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Потому думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем. Вам желаю от души остаться живым и здоровым».

Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только все-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло.

Будьте здоровы, жму руку.

Александр Блок».

Самое главное и прекрасное в этом письме — искренняя озабоченность и беспокойство Блока за дальнейшую судьбу молодого поэта, его будущее. Пожалуй, как никто другой, Блок ясно видел, какие опасности подстерегают Есенина на многотрудном и тернистом литературном пути, и со всей присущей ему прямоотой и бескомпромиссностью предупреждал об этом молодого поэта. Примечателен и тон письма: известный поэт ведет свой разговор с Сергеем Есениным предельно доверительно и откровенно, без тени какого-либо превосходства и резонерских поучений. Одно движет Блоком: чтобы талантливый рязанский поэт, стихи которого он услышал впервые месяц назад, «выдюжил» и утвердился в литературе.

Простое совпадение или произошло это не случайно: Блок отправил свое письмо Есенину в тот же день, когда появилась критическая статья. Автор посвятил ее стихам рязанского поэта, который «действительно талантлив». Однако в отличие от

Блока автор ведет свой разговор о стихах Есенина в снисходительно-умиленных тонах, с чувством явного духовного «превосходства» над «земляным поэтом». «Замечательно, — довольно бестактно пишет автор, — что при таком отсутствии прямой, непосредственной связи с литературой, при такой разности Есенин — настоящий современный поэт». Появление в столице поэта с Рязанщины для автора всего лишь очередная литературная



сенсация. Он сравнивает его с молодым «камерным» поэтом, барски-покровительно замечая при этом, что «Есенин не знает «языков», а потому ему невдомек, что значит «манто», «ландолз», «грёзо-фарс» и т. д., а коллега не понимает ни «дежки», ни «купыря» и скорее до экарлатной зари додумается, чем до «маковой».

Как вспоминает один из современников Есенина, прочтя эту статью, поэт с возмущением заметил: «Она меня, как вещь, общипывает... Позднее Есенин скажет о выступлениях, подобных этой статье: «...стихи мои были принимаемы и толкуемы с тем смаком, от которого я отпихиваюсь сейчас руками и ногами».

Вот почему в первые месяцы своего пребывания в Петрограде в 1915 году, а затем и позднее, в 1916-м, Есенин с особой силой тянется к Блоку. «Я очень люблю Блока», — не раз признавался Есенин друзьям.

Пример Блока воочию убеждал Есенина, что только предельная искренность и правда чувств рожают в сердце поэта стихи, без которых люди не могут жить, как без воздуха и света.

И, конечно, не случайно в наши дни, чем больше и больше мы вчитываемся в стихи Есенина о России, чем больше и больше поэзия Есенина занимает место в наших сердцах, тем ближе и ближе нам становится не только Есенин, но и Блок. Да, да, мы не оговорились, именно Блок, его поэзия, его судьба.

Возникает своеобразная эмоциональная цепная реакция: чувство родины, которым наполнены до краев стихи Есенина, захватывая в песенный плен наши сердца, заставляет нас сегодня в первую очередь вспомнить Блока, а не тех поэтов, whose долгое время считали наставниками и учителями Есенина и кто, если верить иным мемуаристам и критикам, оказал самое главное и сильное влияние на творчество Есенина.

И пусть временами Есенину казалось, что он «отходит» от Блока, пусть временами он спорил с Блоком, доходя в этом споре порой до «отрицания» Блока, — все это не могло повлиять на главную, объективную линию их удивительного внутреннего единства, на ту нерасторжимую поэтическую связь времен, которая навсегда соединила их в истории русской поэзии, в истории России.

Музыка революции

Марина Цветаева никогда не находилась под непосредственным влиянием поэзии Блока — да и вообще невозможно представить себе ее под чьим-либо литературным влиянием. Ее отношения с Поэтом, и в первую очередь с великим Пушкиным, строились на нравственном, личностном воздействии, без которого нельзя говорить о развитии и преемственности духовной культуры. Так было у Цветаевой и с Блоком, чья сущность — поэтическая и человеческая — оказалась на нее огромное моральное влияние, начиная с первых же прочитанных ею блоковских стихотворений.

Блока Цветаева видела всего дважды в жизни и познакомиться с ним не решалась. Воспоминания ее — доклад «Моя встреча с Блоком», прочитанный на литературном вечере в Париже 2 февраля 1935 года, не уцелел. Напечатан он не был, и нет никаких его следов в сохранившихся тетрадях Цветаевой. Излишне говорить о величине этой потери. Это была не только единственная работа, где рассказывалось о живом, виденном Цветаевой Блоке, но там, судя по воспоминаниям ее дочери, Цветаева говорила о нравственном влиянии на нее Блока...

14 мая 1920 года Цветаева присутствовала на чтении Блока во Дворце искусств на Поварской, в «доме Ростовых». И передала после вечера А. Блоку конверт со стихами.

В конверте были следующие стихотворения: «Александру Блоку» («Как слабый луч...»), «Имя твое — птица в руке...», «Ты проходишь на Запад Солнца...», «Зверю — берлога...», «У меня в Москве — купола горят...». Под ними стояло: «Москва, 26-го апреля 1920 г. ст. ст.

Александру Блоку от М. Цветаевой».

«Современность поэта, — скажет Цветаева позже, — во столько-то ударов сердца в секунду, дающих точную пульсацию века — вплоть до его болезней... во внесловом, почти физическом созвучии сердцу эпохи — и мое включение, и в моем — моем — бытующем... стихи сами без моего ведома и воли выносят меня на передовые линии». «Двенадцать» Блока возникли под царой, — писала Цветаева в 1932 году. Демон данного часа Революции (он же блоковский «музыка Революции») вселился в Блока и заставил его...».

«Феномен «Двенадцати» не только потряс ее, но в чем-то основном творчески устыдил, — писала дочь Цветаевой.

Устыдил — потому, что Блок, этот «нежный призрачок», дух бесплотный и «нездешний», ринулся в самую гущу жизни, в самый центр потрясших его Родину событий. «Двенадцать» Блока — и это поняла Цветаева — были исполнением заказа, данного Поэту Временем, Эпохой, Историей.

«Смерть Блока. Еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. Думаю: смерти никто не понимает...

Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Мало земных примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-посмертным (в нашей любви). Ничего не оборвалось, — отделилось. Весь он — такое явное горьчество духа, — такой воочию — дух, что удивительно, как жизнь — вообще — допустила.

Смерть Блока я чувствую как вознесение. Человеческую боль свою глотаю. Для него она кончена, не будем и мы думать о ней (отождествлять его с ней). Не хочу его в гробу, хочу его в зорях» (черновик письма к А. Ахматовой). Эти слова Цветаевой написаны в августе 1921 года.

В своих стихах к Блоку Цветаева говорит о неизбывной и безмерной потере — не только своей, но и всей России, которая оплакивает великого «праведника» и певца:

Не свой любовный произвол
Пою — своей отчизны рану.

Днепром разламывая лед,
Гробовым не смущаясь тесом,
Русь — Пасху — к тебе плывет,
Разливом тысячеголосым...

Вскоре после смерти Блока Цветаева записала в тетради:

«Не потому сейчас нет Данте, Ариста, Гете, что дар словесный меньше — нет: есть мастера — большие. Но те были мастера дела, те жи-

ли свою жизнь, а эти жизнью сделали писание стихов. Оттого так — над всеми — Блок. Больше, чем поэт: человек».

А спустя четыре года после смерти Блока она напишет:

«Пушкин — Блок — прямая (связь — А. С.), («Неслучайность последнего стихотворения Блока, посвященного Пушкину). Не о внутреннем родстве Пушкина и Блока говорю, а о роднящей их общности нашей любви».

Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет, —
Это — после Пушкина — вся Россия могла
сказать только Блоку. Дело не в даре... дело не в смерти... дело в воплощенной тоске — мечте — беде — не целого поколения... а целой пятой стихии — России»

В нескольких строках Цветаевой удастся сказать то, о чем пишутся целые книги. О том, что Блок был осязателем своего времени. О том, что ему в высшей степени дано было: услышать и явить.

«В лице Блока вся наша человечность оплакивала его... Смерть Блока: громовой удар по сердцу», — писала Цветаева.

Встреча

...Дверь распахнул: я просветлел кусок комнаты с окнами, открывающими широкий и мирный простор; перерезая кусок белой комнаты, там показалась знакомая голова, с волосами рыжеющими, сквозящими заоконным простором; то был А. А. Блок — в фантастической, очень шедшей, уютной рубашке, из черной, свисающей шерсти, без талии, не перетянутой поясом, и открывающей крепкую лебединую шею, которую не закрывал мягкий, белый, широкий воротничок. Конечно же: Любви Дмитриевне принадлежала идея рубашки, потом появившейся на Вячеславе Иванове и других, перенивших фасон тот; лицо закрывали глубокие тени передней; и все же: оно — показалось мне бледным, а сам А. А. мне показался, конечно же, перерисованным со старинных портретов.

Первый вопрос, им мне брошенный:
— Что?
— Ну?

И я понял, в чем дело:
— Да говорят, что пошли...
Торопливо, взволнованно встретились мы, обменявшись быстро приветствиями. (Эта встреча А. Белого и А. Блока произошла в день кровавого воскресенья — 9 января 1905 г. — От ред.)...

И меня повели через белую комнату, с окнами, за которыми сиротливо ширели пространства оледенелой воды; у подоконников поднимались, как поминки, листья растения, поливаемого Александрой Андреевной; узнал ту же все чистоту бледно-желтых паркетов, сопровождавшую Александрю Андреевну посюду; мне бросилась мебель, зеленая, старых фасонов, не подавлявшая, но расставленная приветливо, с пониманием; вкус был во всем: здесь стоял кожаный; и — стояли блестящие невесомые шапки (кажется, красного дерева), показывая переплетенные томки из-под ясного чистопротертого стеклышка; тут дверь — открывала столовую, комнату меньших размеров, оклеенную оранжевыми, согревавшими мягко обоями, со столом посреди, на котором накрыт был, как помнится, завтрак, приподнялась мне навстречу всегда трепыхавшаяся, точно серая птичка, мать Блока в своей красной тальмочке (нет, в самом деле, не фантазирую я — эту красную тальмочку, помню, действительно помню!); а Марья Андреевна подкидывала, подмаргивала за нею:

— Ну что?
— Да — пошли...
— Говорят, что стреляли.
— Ах, ужас что!

...Но А. А. в этот день волновался другим: значит, был факт расстрела. Я никогда не видел его в таком виде; он быстро вставал; и — расхаживал, выделяясь рубашкой из черной, свисающей шерсти и каменной гордо закинутой головой на фоне обоев; и контраст силуэта (темнейшего) с фоном (оранжевым) напоминал мне цветные контрасты портретов Гольбейна (лазурное, светлое — в темно-зеленом); покуривая, на ходу он протягивал синий дымок папиросы и подходил то и дело к окошку, впираясь глазами в простор сиротливого льда, точно — он — развивал неукротимость какую-то; а за чаем узнали: расстрелы действительно были.

С собой из Москвы привез целые ворохи разнообразнейших впечатлений о том, что меня волновало. С чем ехал я к Блокам; но — говорить ни о чем не могли мы; события заслонили слова.